

Вадим КОЖЕВНИКОВ

# БЛИЗОСТЬ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
№ 8  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
МОСКВА — 1946



Вадим КОЖЕВНИКОВ

# БЛИЗОСТЬ

Р А С С К А З Ы

Издательство «ПРАВДА»

Москва — 1946

## ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

*Вадим Михайлович Кожевников родился в 1909 году, 22 апреля, в городе Нарыме. В 1925 году из Сибири переехал в Москву. В 1928 году написал первый рассказ «Порт», напечатанный в журнале «Рост» в 1929 году. В 1939 году выпустил книгу рассказов «Ночной разговор», в 1940 году — повесть об обороне Царицына «Великий призыв», в 1941 году — повесть для детей «Грозное оружие».*

*На второй день Великой Отечественной войны уехал на Западный фронт в качестве литератора фронтовой газеты «Красноармейская правда». С 1943 года стал военным корреспондентом «Правды».*

*За время войны выпущены книги: в 1941 году — «Тяжёлая рука» («Советский писатель»); в 1942 году — «Рассказы о войне» («Молодая гвардия»); в 1943 году — «Март — апрель», сборник рассказов («Советский писатель»); «Мера твёрдости» («Молодая гвардия»), в 1944 году — «Любимые товарищи» («Советский писатель»); в 1945 году — «Труженики войны» («Советский писатель»).*

*Награждён двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной звезды и пятью медалями.*

## ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ШЛА ВПЕРЕДИ

Командир разведроты привёл её в хату, где спали бойцы, и сказал вежливо:

— Вы садитесь и обождите. У нас специальность такая — днём спать, а вечером на прогулку.

Откозыряв, он щёлкнул каблуками и вышел.

Пожалуй, лейтенанту козырять и щёлкать каблуками перед девушкой не следовало: на шинели у неё были петлицы без всяких знаков различия. Но в данном случае лейтенант чувствовал себя больше мужчиной, чем командиром.

Девушка села на лавку и стала смотреть в окно.

Стёкла были покрыты диковинными белыми листьями. Это их вылепила стужа.

Бойцы спали на полу, укрывшись шинелями.

Прошёл час, два, три, а она всё сидела на лавке. Мучительные припадки резкого кашля сотрясали её тело; наклоняясь, прижимая ко рту варежку, она пыталась побороть приступы. И когда она потом откидывалась, тяжело дыша, опираясь затылком о стену, набухшие губы её дрожали, а в широко открытых глазах стояли слёзы боли, и она вытирала их варежкой.

Уже совсем стемнело.

Вошёл лейтенант. Не видя впотьмах, он спросил:

— Вы тут, гражданочка?

— Здесь, товарищ лейтенант, — глуховато ответила она.

Лейтенант наклонился и стал будить спавших бойцов.

Потом он отозвал в сторону командира отделения Чевакова и долго шопотом давал ему какие-то указания и в заключение громко произнёс:

— Батальонный так и приказал: общее руководство твоё, а конкретное — ихнее, — и он кивнул головой в сторону девушки.

— Понятно, — сказал отделённый и стал одеваться.

Ужинали торопливо, не зажигая света. Девушка, набирая пол-ложки каши, ела так осторожно, словно каждый глоток причинял ей боль.

Видя, что она не доела своей порции, отделённый сказал:

— Вы не волнуйтесь. Подзакусить перед прогулкой — первое дело.

— Я не волнуюсь, — тихо сказала девушка.

Сборы были короткими, молчаливыми. Заметив, как девушка тщательно укутывала шею тёплым толстым шарфом, Чеваков сказал:

— Горлышко, верно, простудить боитесь?

Девушка ничего не ответила, и все вышли на улицу.

Круглая яркая луна висела в небе. Снег блестел.

Чеваков выругал луну и пошёл впереди, но, обернувшись, он сказал девушке:

— Через линию фронта, конечно, я поведу. А дальше уже вы, будьте любезны.

Девушка шла между бойцами Игнатовым и Рамишвили. И когда бойцы, переходя поляну, озарённую голубым, почти прожекторным светом луны, посмотрели на свою спутницу, они её не узнали.

Маленькая, в валенках, она была не одета в шинель, а скорее завернута в неё, как подросток в отцовскую шубу, а глаза были такие хорошие, что оба бойца смутились и отвернулись.

Когда девушка поскользнулась, Игнатов подскочил к ней и сказал:

— Разрешите, я вас под ручку возьму.

Девушка остановилась и испуганно спросила:

— Это зачем ещё?

Игнатов покраснел несмотря на мороз. Но на помощь ему пришёл Рамишвили:

— У нас на Кавказе, барышня, полагается, чтоб мужчина был всегда рыцарем женщины.

— А на фронте полагается, — хрипло сказала девушка, — думать больше.

Рамишвили хотел ей что-то ответить, но Чеваков сердито прикрикнул:

— Разговорчики! Забыли, где находитесь.

Перешли линию фронта часам к двенадцати. Вошли в лес, тёмный, сумрачный, с лежащими на снегу ветвистыми тенями. Теперь впереди шла девушка. Засунув руки в рукава шинели, она шла быстро, хотя и семенящей походкой. Тропинка кончилась. Через балку переправлялись по пояс в снегу. Лошину пришлось переползать. Ползли долго, часа полтора. Потом вышли на просеку. Миновали какую-то деревушку, чёрную, некрасивую на искристом, чистейшем снегу.

Потом снова брели по целине, с трудом выдирая ноги из сухого, сыпучего, как песок, снега.

И вот одно было плохо: девушка кашляла. В этой напряжённой, хрупкой тишине кашель её, звенящий, сухой, надрывистый, мог провалить всё дело. И когда вышли к намеченному пункту, Чеваков сказал:

— Вы зарывайтесь пока в копёнку и ждите нас. Тут уж мы сами разберёмся.

— Хорошо, — прошептала обессиленная девушка, прижимая шерстяную варежку ко рту.

И бойцы разошлись, назначив время сбора.

Прошло много времени. Тусклый рассвет освещал матовым, туманным светом землю.

Первым пришёл Игнатов, потом Рамишвили. Рамишвили был возбуждён и взволнован. Он сказал:

— Нам её на руках носить надо. Такие сведения!

— Как же! Согласится она... — огорчённо пробормотал Игнатов. И, покосившись на стог, спросил тревожно: — Замужняя, как ты думаешь?

Чеваков появился бесшумно и внезапно. Он приказал:

— В путь, ребята! — потом схватился за голову и восхищённо заныл: — Какой материал! Батальонный закачается. Как в цирке.

Обратно шли другим путём. И опять впереди шла девушка, засунув руки в рукава шинели. И опять она кашляла и, силах побороть кашель, прижимала шерстяную варежку ко рту.

Бойцы с гордостью смотрели на своего проводника, и у каждого в сердце возникали нежные слова, которые единожды в жизни произносятся для очень любимой.

На большаке, возле деревни Жимолости, пленные жители очищали дорогу от снега. Солдаты, закутанные в одеяла, платки, охраняли их. Какая-то женщина лежала в обочине с поджатыми к животу ногами, и кровь замёрзла у неё на лице.

Рамишвили скрипнул зубами и стал отстёгивать гранату. Игнатов снял с шеи автомат. Чеваков сипло сказал:

— Без сигнала огня не открывать.

И вдруг девушка громко сказала, так громко, насколько ей позволяло большое горло:

— Никакого сигнала не будет.

— Это как — не будет?

— Очень просто. Хотите, чтобы переколотили вас?

— Это они-то? — удивился Чеваков. — Двенадцать облезлых

фрицев! Да мы их так внезапно стукнем...

— А я говорю: не будет.

— Разговорчики отставить! — и, отвернувшись от девушки, Чеваков приказал: — Слушай команду!

Но девушка не унялась. Продолжая кашлять, она выкрикивала:

— Из-за падали какой-то я рисковать сведениями не позволю! Слышите вы?

— Риска тут на копейку, — гордо сказал Чеваков. — Пошли, ребята.

Девушка загородила им дорогу.

— Брось, — сказал грубо Чеваков и шагнул к ней. — Ты что хочешь? Не видишь — люди страдают?

— Не смей, — шопотом сказала девушка. — Я кричать буду, — и отбежала в сторону.

Чеваков подбросил наган, взвесил его на руке и, не глядя на бойцов, скучно сказал:

— Ну, что ж, видно, придётся уйти так. А то тут из-за бабьего психа задание сорвать можно.

— Сволочь она, — горько сказал Игнатов.

— Нехороший человек, — подтвердил Рамишвили и плюнул в снег.

Трудно и горько было идти обратно. Бойцы старались не смотреть на свою спутницу. Каждая, прежде милая, складка её шинели вызывала отвращение, и когда девушка падала, никто не протягивал ей руку, чтоб помочь подняться.

Солнце уже высоко стояло в небе, когда бойцы пришли в штаб Чеваков сказал девушке нехотя:

— Ты и так еле ноги волочишь, иди спать, мы и без тебя доложим. А насчёт спасибо — пускай начальство скажет, а мы даже для тебя такого слова не знаем.

Девушка кивнула головой и, согнувшись, побрела в избу.

Чеваков доложил командиру разведбата о результате разведки. Сведения, добытые бойцами, имели чрезвычайную важность; шифровщик тут же передал их командиру корпуса по телеграфу. Потом комбат спросил:

— Где же Нина Богородова? Как она себя чувствует?

— Это та, что нас водила? — сказал Чеваков. — Дрыхнет, небось, без задних ног... Натерпелись мы с ней... — Презрительно усмехаясь, он рассказал все обстоятельства встречи на дороге с немецким охранным отрядом.

Но странно: чем ядовитее говорил Чеваков о девушке, тем сильнее лицо комбата покрывалось красными пятнами, и дышал комбат так глубоко и учащённо, словно его кололи булавками, и он должен был молча переносить боль.

И когда Чеваков кончил, батальонный, не говоря ни единого слова, долго ходил по хате, не обращая внимания на удивлённо глядевших на него вытянувшихся бойцов. И вдруг, резко повернувшись, он сказал глухо:

— Эта Нина Богородова была повешена немцами в деревне Жимолости два дня тому назад. Партизаны ворвались и спасли её вовремя. Вы видели, как верёвка изодрала её шею? Как она кашляет и плюёт кровью? И эта больная, раненая девушка вела себя так, как надо. Может, своих родителей на дороге она видела, но она знала, что сведения разведки ценнее любой дюжины немецких солдат. А вы что тут о ней плетёте?.. Герои! — и, махнув рукой, батальонный сказал: — Можете идти.

Бойцы вышли и остановились. Лицо Чевакова было бледно. У Игнатова тряслись губы. А Рамишвили, терзая на груди гимнастёрку, яростно требовал:

— Пошли сейчас же у неё прощенья просить! Такой скандал, такой скандал!..

Игнатов горько прошептал:

— Тут, брат, одними извинениями дело не поправить.

— А извиниться, ребята, всё-таки нужно, — медленно произнёс Чеваков. — Только я думаю таким манером это сделать. Сейчас отряд отправляется в Жимолости. Поспать придётся отставить. А нам будет очень интересно взглянуть на тех фрицев, которые, значит, её...

— Мы теперь всё можем, — возбуждённо шептал Рамишвили. — Теперь, что хочу, то и делаю. Сведения сдал — свободный человек.

— Разговорчики отставить, — деловито прервал Чеваков. — Как-нибудь разберёмся. После вернёмся обратно, побреемся, воротнички чистые и, значит, по всей форме — извиняюсь. Точно?

— Точно, — единодушно согласились бойцы.

И, вскинув автоматы за спины, они пошли на опушку леса, откуда отряд должен был наступать на Жимолости.

Светило солнце, и снег блестел и слепил глаза.

## ДОМ БЕЗ НОМЕРА

Дымящиеся дома сражались, как корабли в морской битве.

Здание, накрытое залпом тяжёлых миномётов, гибло в такой же агонии, как корабль, кренясь и падая в хаосе обломков.

В этой многодневной битве многие дома были достойны того, чтобы их окрестили гордыми именами, какие носят боевые корабли.

Убитые немцы валялись на чердаке пятые сутки, убраться им было некогда.

Ивашин лежал у станкового пулемёта и бил вдоль улицы. Фролов, Селезнёв и Савкин стреляли по немецким автоматчикам на крышах соседних домов. Тимкин сидел у печной трубы и заряжал пустые диски.

Нога Тимкина была разбита, поэтому он сидел и заряжал, хотя по-настоящему ему следовало лежать и кричать от боли.

Другой раненый был не то в забытьи, не то умер.

Сквозь рваную крышу ветер задувал на чердак снег. И Тимкин ползал, собирал снег в котелок, растапливал на крохотном костре и отдавал Ивашкину воду для пулемёта.

От многочисленных пробоин в крыше на чердаке становилось всё светлее и светлее.

Штурмовая группа Ивашина захватила этот дом пять суток тому назад удачным и дерзким налётом. Пока шёл рукопашный бой в нижнем этаже с расчётом противотанковой пушки, четверо бойцов — двое по пожарной лестнице, двое по водосточным трубам — забрались на чердак и зарезали там немецких автоматчиков.

Дом был взят.

Кто воевал, тот знает несравненное чувство победы. Кто испытывал наслаждение этим чувством, тот знает, как оно непомерно.

Ивашин изнемогал от гордости, и он обратился к бойцам и сказал раздельно и громко:

— Товарищи, этот дом, который мы освободили от немец-

ких захватчиков, — не просто дом, — Ивашин хотел сказать, что это здание очень важно в тактическом отношении, так как оно господствует над местностью, но такие слова ему показались слишком ничтожными. Он искал других слов — торжественных и возвышенных. И он сказал эти слова. — Этот дом исторический, — сказал Ивашин и обвёл восторженным взглядом стены, искромсанные пулями.

Савкин сказал:

— Заявляю: будем достойными того, кто здесь жил.

Фролов сказал:

— Значит, будем держаться зубами за каждый камень.

Селезнёв сказал:

— Это очень приятно, что дом такой особенный.

А Тимкин — у него нога ещё тогда была целая — наклонился, поднял с пола какую-то раздавленную кухонную посудину и бережно поставил её на подоконник.

Немцы не хотели отдавать дом. К рассвету они оттеснили наших бойцов на второй этаж, на вторые сутки бой шёл на третьем этаже, и когда бойцы уже были на чердаке, Ивашин отдал приказ окружить немцев.

Четверо бойцов спустились с крыши дома, с четырёх его сторон, на землю и ворвались в первый этаж. Ивашин и три бойца взяли сена (на этом сене раньше на чердаке спали немецкие пулемётчики), зажгли его и с пылающими охапками в руках бросились вниз по чердачной лестнице.

Горящие люди вызвали у немцев замешательство. Для того, чтобы взорвалась граната, дающая две тысячи осколков, этого достаточно.

Ивашин оставил у немецкой противотанковой пушки Селезнёва и Фролова, а сам с двумя бойцами снова вернулся на чердак к станковому пулемёту и раненым.

Немецкий танк, укрывшись за угол соседнего дома, стал бить термитными снарядами. На чердаке начался пожар.

Ивашин приказал снести раненых сначала на четвёртый этаж, потом на третий. Но с третьего этажа им пришлось тоже уйти, потому что под ногами стали проваливаться прогоревшие половицы.

В нижнем этаже Селезнёв и Фролов, выкатив орудие к дверям, били по танку. Танк после каждого выстрела укрывался за угол дома, и попасть в него было трудно. Тогда Тимкин, который стоял у окна на одной ноге и

стрелял из автомата, прекратил стрельбу, сел на пол и сказал, что он больше терпеть не может и сейчас поползёт и взорвёт танк.

Ивашин сказал ему:

— Если ты ошалел от боли, так нам от тебя этого не нужно.

— Нет, я вовсе не ошалел, — сказал Тимкин, — просто мне обидно, как он, сволочь, из-за угла бьёт.

— Ну, тогда другое дело, — сказал Ивашин. — Тогда я не возражаю, иди.

— Мне ходить не на чем, — поправил его Тимкин.

— Я знаю, — сказал Ивашин, — ты не сердись, я обмолвился, — и он пошёл в угол, где лежали тяжёлые противотанковые гранаты.

Выбрав одну, он вернулся, но не отдал её Тимкину, а стал усердно протирать платком.

— Ты не тяни, — сказал Тимкин, протягивая руку. — Может, ты к ней ещё бантик привязать хочешь?

Ивашин переложил гранату из левой руки в правую и сказал:

— Нет, уж лучше я сам.

— Как хочешь, — сказал Тимкин, — только мне стоять на одной ноге гораздо больше.

— А ты лежи.

— Я бы лёг, но когда под ухом стреляют, мне это на нервы действует, — и Тимкин осторожно вынул из руки Ивашина тяжёлую гранату.

— Я тебя хоть до дверей донесу.

— Опускай. — сказал Тимкин, — теперь я сам, — и удивлённо спросил: — Ты зачем меня целуешь? Что я, баба или покойник? — и уже со двора крикнул: — Вы тут без меня консервы не сожрите! Если угощения не будет, я не вернусь.

Магниевая вспышка орудия танка осветила снег, розовый от отблесков пламени горящего дома, и скорченную фигуру человека, распластанную на снегу.

Потолок сотрясаясь от ударов перегоревших брёвен, падающих где-то наверху. Невидимый в темноте дым ел глаза, ядовитой горечью проникал в ноздри, в рот, в лёгкие.

На перилах лестницы показался огонь. Он сползал вниз, как кошка.

Ивашин подошёл к Селезнёву и сказал:

— Чуть выше бери, в башню примерно, чтобы его не задеть.

— Ясно, — сказал Селезнёв. Потом, не отрываясь от панорамы, добавил: — Мне плакать хочется: какой парень! Какие он тут высокие слова говорил!

— Плакать сейчас те будут, — сказал Ивашин, — он им даст сейчас духу.

Трудно сказать, с каким звуком разрывается снаряд, если он разрывается в двух шагах от тебя. Падая, Ивашин ощутил, что голова ого лопается от звука, а потом от удара, и всё залилось красным отчаянным светом боли.

Снаряд из танка ударил под ствол пушки, отбросил её, опрокинутый ствол пробил перегородку. Из разбитого амортизационного устройства вытекло масло и тотчас загорелось.

Селезнёв, хватаясь за стену, встал, потом он попробовал поднять раненую руку правой рукой, потом он подошёл к стоящему на полу фикусу, выдрал его из горшка и комлем, облепленным землёй, начал сбивать пламя с горящего масла.

Ивашин сидел на полу, держась руками за голову, и раскочивался. И вдруг встал и, шатаясь, направился к выходу.

— Куда? — спросил Селезнёв.

— Пить, — сказал Ивашин.

Селезнёв поднял половицу, высунул её в окно, зачерпнул снег.

— Ешь, — сказал он Ивашину.

Но Ивашин не стал есть, он нашёл шапку, положил в неё снег и после этого надел себе на голову.

— Сними, — сказал Селезнёв. — Голову простудишь. Дураком на всю жизнь от этого стать можно.

— Взрыв был?

Селезнёв, держа в зубах конец бинта, обматывал им свою руку и не отвечал. Потом, кончив перевязку, он сказал:

— Вы мне в гранату капсулю заложите, а то я не управлюсь с одной рукой.

— Подорвал он танк? — снова спросил Ивашин.

— Я ничего не слышу, — сказал Селезнёв. — У меня из уха кровь течёт.

— Я как пьяный, — сказал Ивашин, — меня сейчас тошнить будет, — и сел на пол. И когда он поднял голову, он увидел рядом лицо Тимкина и не удивился, а только спросил: — Жив?

— Жив, — сказал Тимкин. — Если я немного полежу, ничего будет?

— Ничего, — сказал Ивашин и попытался встать.

Селезнёв положил автомат на подоконник и, сидя на корточках, стрелял. И короткий ствол автомата дробно стучал по подоконнику при каждой очереди, потому что Селезнёв держал автомат одной рукой, но потом он опёрся диском о край подоконника — и автомат перестал прыгать.

Ивашин взял Селезнёва за плечо и крикнул в ухо:

— Ты меня слышишь?

Селезнёв кивнул головой.

— Иди к раненым, — сказал Ивашин.

— Я же не умею за ними ухаживать, — сказал Селезнёв.

— Иди, — сказал Ивашин.

— Да они всё равно без памяти.

Ивашин приказал Фролову сложить мебель, дерево, какое есть, к окнам и к двери дома.

— Разве такой баррикадой от них прикроешься? — сказал Фролов.

— Действуйте, — сказал Ивашин, — выполняйте приказание.

Когда баррикада была готова, Ивашин взял бутылку с зажигательной смесью и хотел разбить её об угол лежащего шкапа. Но Фролов удержал его:

— Бутылку жалко. Разрешите, я ватничком, я его в масле намочу.

Когда баррикада загорелась, к Ивашину подошёл Савкин:

— Товарищ командир, извините за малодушие, но я так не могу. Разрешите, я лучше на них кинусь.

— Что вы не можете? — спросил Ивашин.

— А вот, — Савкин кивнул на пламя.

— Да что мы, староверы, что ли? Я людям передохнуть дать хочу. Немцы увидят огонь — утихнут, — рассердившись громко сказал Ивашин.

— Так вы для обмана? — сказал Савкин и рассмеялся.

— Для обмана, — сказал Ивашин глухо.

А дышать было нечем. Шинели стали горячими, и от них воняло палёной шерстью.

Пламя загибалось и лизало стены дома, высунувшись с первого этажа. И когда налетали порывы ветра, куски огня уносило в темноту, как красные тряпки.

Немцы были уверены, что с защитниками дома поконче-

но. Немцы расположились за каменным фундаментом железной решётки, окружавшей здание.

И вдруг из окон дома, разрывая колеблющийся занавес огня, выскочили четыре человека и бросились на немцев. Фролов догнал одного у самой калитки и стукнул его по голове бутылкой. Пылая, немец бежал, но скоро он упал. А Фролов лёг на снег и стал кататься, чтобы погасить попавшие на его одежду брызги горячей жидкости.

Лёжа у немецкого пулемёта, Савкин сказал Ивашину:

— Мне, видать, в мозги копоть набилась, такая голова дурная!

— В мозг копоть попасть не может, это ты глупости говоришь, — сказал Ивашин.

На улицу выполз Селезнёв, поддерживая здоровой рукой Тимкина.

— Ты зачем его привёл? — крикнул через плечо Ивашин.

— Он уже поправился, — сказал Селезнёв, — он у меня за второго номера сойдёт. Нам всё равно лежать, а на вольном воздухе лучше.

И снова под натиском немцев защитники дома вынужденные были уйти в выгоревшее здание.

На месте пола зияла яма, полная золы и тёплых обломков. Бойцы стали у оконных амбразур на горячие железные двутавровые балки и продолжали вести огонь.

Шли шестые сутки боя. И когда Савкин сказал жалобно, ни к кому не обращаясь: «Я раненый, но я помру сейчас, если засну», — никто не удивился таким словам. Слишком истощены были силы людей.

И когда Тимкин сказал: «Я раненый, у меня нога болит, и спать я вовсе не могу», — тоже никто не удивился.

Селезнёв, которому было очень холодно, потому что он потерял много крови, сказал, стуча зубами:

— В этом доме отопление хорошее. Голландское. В нём тепло было.

— Мало ли что здесь было, — сказал Фролов.

— Раз дом исторический, его всё равно восстановят. — сердито сказал Савкин. — Пожар никакого значения не имеет, были бы стены целы.

— А ты спи, — сказал Тимкин, — а то ещё помрёшь. А исторический или какой — держись согласно приказа, и точка.

— Правильно, — сказал Ивашин.

— А я приказ не обсуждаю, — сказал Савкин. — Я говорю просто, что приятно, раз дом особенный.

Четыре раза немцы пытались вышибить защитников дома и четыре раза откатывались назад.

Последний раз немцам удалось ворваться внутрь. Их били в темноте кирпичами. Не видя вспышек выстрелов, немцы не знали, куда стрелять. И когда немцы выскочили наружу, в окне встал чёрный человек и, держа в одной руке автомат, стрелял из него, как из пистолета, одиночными выстрелами. И когда он упал, на место его поднялся другой чёрный человек. И этот человек стоял на одной ноге, опираясь рукой о карниз, и тоже стрелял из автомата, как из пистолета, держа его в одной руке.

Только с рассветом наши части заняли заречную часть города.

Шёл густой, мягкий, почти тёплый снег. С ласковой нежностью снег ложился на чёрные покалеченные здания.

На улице прошли танки. На броне их сидели десантники в маскахалатах, похожие на белых медведей.

Потом пробежали пулемётчики. Бойцы тащили за собой саночки, маленькие, нарядные. И пулемёты на них были прикрыты белыми простынями.

Потом шли тягачи, и орудия, которые они тащили за собой, качали длинными стволами, словно кланяясь этим домам.

А на каменном фундаменте железной решётки, окружающей обгоревшее здание, сидели три бойца. Они были в чёрной изорванной одежде, лица их были измождены, глаза закрыты, головы запрокинуты. Они спали. Двое других лежали прямо на снегу, и глаза их были открыты, и в глазах стояла боль.

Когда показалась санитарная машина, боец, лежавший на снегу, потянул за ногу одного из тех, кто сидел и спал. Спящий проснулся и колеблющейся походкой пошёл на дорогу, поднял руку, остановил машину. Машина подъехала к забору. Санитары положили на носилки сначала тех, кто лежал на снегу, потом стали укладывать тех, кто сидел у забора с запрокинутыми головами и с глазами, крепко закрытыми. Но Ивашин — это он останавливал машину — сказал санитару:

— Этих двух не трогайте.

— Почему? — спросил санитар.

— Они целые. Они притомились, им спать хочется.

Ивашин взял у санитаря три папиросы. Одну он закурил сам, а две оставшиеся вложил в вялые губы спящих.

Потом, повернувшись к шофёру санитарной машины, он сказал:

— Ты акуратнее вези, это, знаешь, какие люди!

— Понятно, — сказал шофёр. Потом он кивнул на дом, подмигнул и спросил: — С этого дома?

— Точно.

— Так мы о вас очень уже слышаны. Приятно познакомиться, — сказал шофёр.

— Ладно, — сказал Ивашин. — Ты, давай, не задерживай.

Ивашин долго растакивал спящих. Савкину он даже тёр уши снегом. Но Савкин всё норовил вырваться из его рук и улечься здесь, прямо у забора.

Потом они шли, и падал белый снег, и они проходили мимо зданий, таких же опалённых, как и тот дом, который они защищали. И многие из этих домов были достойны того, чтобы их окрестили гордыми именами, какие носят боевые корабли, например: «Слава», «Дерзость», «Отвага» или — чем плохо? — «Гавриил Тимкин», «Игнатий Ивашин», «Георгий Савкин». Это ведь тоже гордые имена.

Что же касается Савкина, то он, увидев женщину в мужской шапке, с тяжёлым узлом в руках, подошёл к ней и, стараясь быть вежливым, спросил:

— Будьте любезны, гражданочка. Вы местная?

— Местная, — сказала женщина, глядя на Савкина восторженными глазами.

— Разрешите узнать, кто в этом доме жил? — и Савкин показал рукой на дом, который они защищали.

— Жильцы жили, — сказала женщина.

— Именно? — спросил Савкин.

— Обыкновенные русские люди, — сказала женщина.

— А дом старинный, — жалобно сказал Савкин.

— Если бы старинный, тогда не жалко, — сокрушённо сказала женщина. — Совсем недавно, перед войной, построили, такой прекрасный дом был, — и вдруг, бросив на землю узел, она выпрямилась и смятенно запричитала: — Да, товарищ дорогой, да что же я с тобой про какое-то помещенные разговариваю, да дай я тебя обниму, родной ты мой!

Когда Савкин догнал товарищей, Ивашин спросил его:

— Ты что, знакомую встретил?

— Нет, так, справку наводил...

Падал снег, густой, почти тёплый, и всем троим очень хотелось лечь в этот пушистый снег — спать, спать. Но они шли, шли туда, на окраину города, где ещё сухо стучали пулемёты и мерно и глухо вздыхали орудия.

## БЛИЗОСТЬ

Он увидел, как светящаяся пулемётная очередь вошла в правую плоскость, посыпались куски дюраля. Машина затряслась от ударов, заваливаясь вправо. Потом осколками козырька кабины разрезало ему лицо. Струя ревущего воздуха разбрызгивала кровь. Стёкла очков покрылись кровью. И всё стало тускло красным. Сорвав очки, он вытер шлемом лицо.

Машина падала. Он с силой рванул на себя ручку штурвала и чуть не закричал от боли; откинувшись на спинку сиденья, выпустил ручку и закрыл глаза. Потом снова ухватился за неё и, упираясь коленями, изо всех сил тянул её, крича от боли.

В это мгновение перед ним промелькнул «мессершмитт». Лётчик надавил спуск. Короткая, как судорога, очередь. Он давил из всех сил на гашетку, штурвал уходил из его ослабевших рук. Машина крепилась, входила в штопор. Казалось, перед лицом вращались зелёные кольца внутри огромной воронки с высоко поднятыми мутно-голубыми краями.

«Мессершмитт» ударился о землю. Наш истребитель, срезая вершины деревьев, долю секунды катился над лесным массивом и вдруг, провалившись, упал...

Сорок пять минут тому назад Коновалов сидел на земле год плоскостью самолёта. Шёл дождь и барабанил по плоскости, как по крыше.

Вечером командир полка должен был вручать награды. Коновалова представили к ордену Красной звезды. Коновалов сидел и мечтал: кончится война, правительство разрешит группе лучших лётчиков совершить кругосветный перелёт. Он тоже будет участвовать в этом перелёте. И первым финиширует в Москве. И, как Валерий Чкалов, будет на аэродроме докладывать Сталину, и Сталин скажет ему... и он будет разговаривать с ним... Он скажет... нет, пожалуй, ничего не скажет, — нет, со штурманским делом пока слабовато, он не успеет так быстро в совершенстве овладеть этим искусством. Лучше так: получит задание лететь на Берлин, в воздухе над Берлином встретит сое-

динение немецких самолётов. Он будет драться, как чорт. Погонится за бомбардировщиком, приземлит его, и в этом бомбардировщике окажется Гитлер, который решил ударить в Испанию, а он захватит Гитлера живьём и доставит его в свою часть. И когда сдаст Гитлера, доложит полковнику, как ни в чём не бывало: «Разрешите, товарищ полковник, продолжать выполнение боевого задания», — а полковник скажет...

— Вот что, Коновалов, — сказал ему не полковник, а оружейник Шукин, подойдя с паклей в руках. — Если ты и сегодня никого не достанешь, оружие чистить будешь сам. Вот мой договор. Зря копчёные стволы мне надраивать неинтересно.

Коновалову двадцать лет. Шукину — сорок. И хотя Коновалов старше в звании, Шукин всегда разговаривает с ним снисходительным тоном. Шукин — знаменитый мастер, а Коновалов летает только четыре месяца.

Коновалову очень хотелось осадить Шукина, он даже насупил белые брови, но природная застенчивость взяла верх.

— Хорошо, Агей Семёныч, если не повезёт — сам почищу, — сказал он кротко и этим окончательно вернул себя «на землю».

Но когда Коновалов поднялся в воздух, снова пришли пленительные мысли: о нём, как о Покрышкине, возвестят сейчас немецкие радисты: «Внимание, в воздухе Коновалов!» И пока он в небе, ни один немец не рискнёт подняться...

Немецкий корректировщик летел в сопровождении двух «мессершмиттов». «Мессершмитты» шли под нижней кромкой грязно-дымных толстых облаков.

Ощущение скорости машины, её проворства, силы, как своих собственных качеств, знакомое каждому лётчику, пронизало всё существо Коновалова, когда он пробивал двухкилометровую толщу облаков. Выскочив из пенистого мрака, почти ослеплённый светом, с левого разворота, он ударил по «мессершмитту». «Мессершмитт», вращаясь и дымя, рассыпая чёрные осколки, стал падать вниз.

Прижавшись к корректировщику, Коновалов бил по нему из пушки и пулемётов, и чёрная шелуха сыпалась из вражеской машины, но она ещё продолжала висеть в воздухе. Коновалов скошенным глазом увидел, что второй «мессершмитт» заходит на него. Немец не открывал огня, боясь

попасть в собственный бомбардировщик, возле которого крутился Коновалов. И когда бомбардировщик рухнул, Коновалов остался один на один со вторым «мессершмиттом».

Последней судорожной очередью из своей разбитой и падающей машины Коновалов сбил немца.

И напрасно Щукин ждал на аэродроме Коновалова с деревянным ящиком в руках, в котором были масло, пакля, инструмент для чистки оружия. И когда время истекло, Щукин сел на ящик, опустил тёмные руки между колен и с тоской глядел, как заходило солнце, оставляя розовую пену облаков.

Погасло солнце. А он всё сидел. И лётчики бродили по тёмному аэродрому, и всё оглядывались, прислушивались.

В этот вечер полковник отменил вручение награды. Он сказал:

— Подождём до завтра. Не может быть, чтобы Коновалов за звездой не пришёл.

И с трудом улыбнулся. И лётчики, словно железными стали их губы, тоже попытались улыбнуться.

...Коновалов очнулся. Во рту кровь и обломки разбитых зубов. Он плохо видел. Одно веко разорвано. Тишина, такая, какую испытывает человек под водой, душила его. С медленным упорством он долго освобождал себя из вдавленных стен кабины, обдумывая каждое своё движение. Он знал — боль придёт позже, а пока она не пришла, дикая, непреодолимая, он должен действовать.

Коновалов выполз на землю, поднялся на ноги. Он смотрел на останки самолёта, как смотрит человек на пепелище родного дома перед тем, как покинуть его навсегда.

В приборной доске самолёта в прозрачную пластмассу был вмонтирован портрет человека, черты лица которого знает весь мир. Этот обычай вошёл в жизнь наших лётчиков не случайно. Сколько раз в грозном пикирующем падении, придавленный к стальной спинке сиденья, с белым лицом — кровь от головы, от сердца отсасывала центробежная сила падения, — теряя сознание и побеждая себя, первое, что видел лётчик на приборной доске, — портрет этого человека, и простая, строгая, повелительная мысль снова делала пилота сильным.

Коновалов плохо повинующимися пальцами оторвал от приборной доски оправленный в пластмассу портрет и, зажав его в кулаке, повернулся, пошёл шатаясь, оставляя на земле следы крови.

На четвёртый день наши разведчики нашли Коновалова у немецких проволочных заграждений.

На хирургическом столе в медсанбате Коновалов лежал с открытыми глазами и говорил в забытьи. Из сжатой руки его вынули пластмассовый квадратик.

Недавно Коновалов вернулся из госпиталя в свою часть. И когда улеглось всеобщее возбуждение радости, кто-то из пилотов спросил: как мог он, один, тяжело раненый, истекающий кровью, пройти более сорока километров, да ещё проползти шестьсот метров по переднему краю обороны немцев.

— А я думал, что я не один... — сказал Коновалов и вдруг смутился, как человек, нечаянно выдавший душевную тайну. — То есть я так хотел думать.

Ему трудно было объяснить всё, ведь всё это было так не просто... Мокрый от крови, в лохмотьях, трясущийся от боли, он ковлял в чёрном лесу. Сквозь взлохмаченные вершины деревьев проникал слабый серый свет. Перебитая рука с вывернутыми пальцами распухла, стала тяжёлой, будто в руках насыпали железных опилок. Разбив каблук тонкий лёд, он опускал руку в студёную воду, и рука немела. С ужасом он думал, что умрёт в лесу и никто не узнает, кто здесь лежит, — может, русский, может, немец. И он помнил, как бежал, натыкаясь на деревья, бежал, чтобы не умереть в безвестности.

Пришла ночь. Скорчившись, дрожащий, присев возле поваленного бурей высохшего дерева, он пытался развести огонь. В поисках бумаги вынул из кармана смятый пластмассовый квадратик и стал удивлённо его рассматривать. И тогда внезапно, с властной силой вошло в него чувство близости всего того, о чём он забыл, одичав от страдания: ощущение всеобъемлющего мира родины. Грубо, пренебрегая болью, перевязал он руку, подвесил её на ремне на грудь, чтобы не мешала при ходьбе. С рассветом он шагал по лесу спокойной походкой человека, знающего дорогу.

В медсанбате лётчик сказал врачу:

— Товарищ доктор, не церемоньтесь со мной, главное — восстановить порядок. Наркоза не надо. Говорят, после наркоза заживление идёт медленнее. Я стерплю.

Но он не мог сейчас объяснить лётчикам всего того, что испытал в лесу. И когда к нему подошёл оружейник

Щукин, маленький, коренастый, восторженный, влюблённый в своё ремесло, и ещё издали закричал:

— А я знаю, что тебя спасло!

— Что? — глухо, почти испуганно спросил Коновалов.

— Тебя наша техника выручила, — сказал Щукин и, попрыгавшись в карманах, вытащил обрывок металлической пулемётной ленты.

— Тебя вот это спасло, — повторил Щукин торжественно и рассказал следующее.

Разбирая найденный в лесу самолёт Коновалова, он обнаружил, что осколком вражеского снаряда была заклинена пулемётная лента. Но советское оружие не отказало. Оборвав заклинённую ленту, пулемёт дострелял оставшиеся патроны.

Это и была та последняя короткая очередь, которой Коновалов сбил «мессершмита».

— Вот, возьми эту ленту, — сказал Щукин, — и храни её, она спасла тебе предмет первой необходимости — жизнь.

Коновалов взял ленту и поблагодарил Щукина.

Теперь, летая на новой машине, Коновалов всегда берёт с собой кусок этой ленты «на счастье».

И попрежнему на приборной доске его самолёта вмонтирован всё тот же портрет человека, черты лица которого знает весь мир.

Но вот о чём не знал Коновалов, не знал и Щукин.

А было это не так давно.

Весь полигон занесло снегом, снег блестел и переливался. На линии огня была протоптана узкая тропинка. На тропинке выстроились десятки пулемётов.

Ни один из них не походил на другой. Каждый имел свои отличительные качества. В этот день нужно было выбрать лучший.

Испытания начались с правого фланга. Пулемёты ревели, и вдоль поля вытягивались трассирующие огненные ленты. Каждое оружие имело свой голос.

Конструктор Борис Шпитальный сидел на корточках у своего пулемёта.

— Здравствуйте, товарищ!

Конструктор поднял голову, не снимая рук с затвора пулемёта.

Иосиф Виссарионович Сталин, сняв перчатку, протянул конструктору руку и озабоченно, наклонившись, спросил:

— Что-нибудь с машиной случилось? Почему у вас такое лицо?

Конструктор встал, растерянно растопырив выпачканные в масле пальцы. Он увидел лицо, такое родное, близкое, и не находил слов.

Тогда Иосиф Виссарионович взял его за локоть и сказал, ласково улыбаясь одними глазами:

— Я давно с вами хотел познакомиться.

Прогуливаясь по узкой тропинке, ступая по глубокому снегу в чьи-то следы, товарищ Сталин беседовал вполголоса с конструктором. Он говорил о тех особенностях, которыми должно обладать советское оружие, о тончайших деталях сложной техники производства оружия, какие не всегда известны даже самому образованному специалисту, отдавшему всю свою жизнь этому делу.

Трудно передать, что переживал в эти минуты конструктор.

Остановились. Товарищ Сталин внимательно наблюдал огневую работу пулемёта, изредка давал указания, просил повторить испытание.

Шпитальный внёс в свою конструкцию изменения, указанные товарищем Сталиным, и новый образец пулемёта был принят на вооружение Красной Армии.

Пусть знают об этом лётчик Коновалов и его братья по оружию. И пусть живёт среди них обычай: в минуты опасности бросить мгновенный взгляд на приборную доску, чтобы увидеть в маленьком квадрате лицо человека, черты которого знает весь мир. Увидеть его — значит стать сильным, как оружие, к которому прикасались мудрые отеческие руки — руки Сталина.

## ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

До войны Мария Ивановна Снегова была дамской портнихой. Она хорошо зарабатывала, каждое лето ездила в Крым. С заказчицами Мария Ивановна разговаривала властно. Если она заявляла — этот фасон или цвет вам не к лицу, — никакие силы не могли заставить её принять работу.

В своём деле она у женщин считалась профессором.

Но когда сын её Алёша уехал на фронт, Мария Ивановна пошла на завод, где раньше работал Алёша, и поступила туда штамповщицей. Муж Марии Ивановны погиб ещё в гражданскую войну под станцией Касторной.

Нелегко пятидесятилетней женщине сразу переделать всю свою жизнь.

Мария Ивановна сильно похудела: глаза впали, руки тёмные. в садинах. Она уже не походила на ту дородную даму, какой её знали раньше.

Постоянная мысль о том, что Алёшу могут убить, мучила её. Алёша часто снился ей мёртвым.

В цехе, где теперь работала Мария Ивановна, среди других женщин оказались две её прежние заказчицы.

Нескольких работниц постигло тяжёлое горе. И все женщины помогали им жить, преодолевать горе, словно оно было их собственным.

И столько ума, нежности, воли, проникновенной любви и самоотверженности было в этом постоянном внимании к чужому горю, что и тревога, теснившая сердце Марии Ивановны, начала ослабевать. Нельзя, видя истинную человеческую боль, не проникнуться мужеством тех, кто с такой твёрдостью её переносит.

Мария Ивановна не очень-то уважала прежде своих заказчиц. Она видела частенько пустых, мелочных, эгоистичных, некрасиво скрывавших от мужей, как дорого они платят за каждое новое платье. Но здесь она увидела то, чего не видела раньше, — святую женскую преданность своим любимым и вот эту женскую силу, которую они черпали в мыслях о тех, кто на войне.

Перебирая в памяти свою прошедшую жизнь, Мария Ивановна вспоминала, сколько времени суетно, зря было истрачено на собственное благополучие и ни на что больше. Вот даже заветную мечту покойного мужа она скрyla от сына. Как муж хотел, чтобы Алёша поступил в военное училище! А она думала только о том, как бы сберечь сына.

И не только внешность изменилась у Марии Ивановны, но и характер. Когда её просили отработать за кого-нибудь вторую смену, она готовно соглашалась и думала: если и её Алёшеньке будет там трудно, то и ему не откажут помочь. По глубокому убеждению, появившемуся теперь у Марии Ивановны, всё хорошее, как и всё плохое, передаётся от человека к человеку, и рано или поздно то, что делает она для других, коснётся её сына.

С Ниной Кузьмичёвой Мария Ивановна познакомилась в военкомате.

У окна кассы, где выдают деньги по аттестатам, Мария Ивановна услышала, как молодая женщина, стоявшая впереди, назвала номер полевой почты — такой же, как и у её сына.

Невольню Марию Ивановну потянуло к этой женщине, странно, неряшливо одетой, с нелюдимым взглядом, который так портил выражение красивого и ещё совсем юного лица.

Но Кузьмичёва вовсе не обрадовалась, узнав, что сын Снеговой служит вместе с её мужем. Она невнятно пробормотала, что писем от мужа давно не получает, и хотела уйти.

Мария Ивановна не обратила внимания на нерасположение Кузьмичёвой к разговорам и пошла проводить её. Идя рядом с упорно молчавшей женщиной, Мария Ивановна испытывала неловкость, но вместе с тем ей было очень приятно думать, что её сын и муж Кузьмичёвой находятся вместе, и она проникалась к ней тёплым чувством.

Пал снег с дождём, дул порывистый ветер, и возникало такое ощущение, словно кто-то беспрерывно встряхивает перед лицом мокрое, усыпанное снегом одеяло.

Мария Ивановна носила прежде хорошую беличью шубку, но теперь ходила в драповом пальто. Оно было не теплее армейской шинели. Мария Ивановна хотела чувствовать погоду так же, как и сын, там, на фронте.

Сегодня она зябла на ветру, лицо у неё сморщилось и посинело.

Кузьмичёва остановилась возле своего дома. Мария Ивановна продолжала рассказывать о том, как трудно в такую погоду на фронте, — костров разводить нельзя: костры демаскируют. Кузьмичёва была вынуждена пригласить её к себе, иначе им пришлось бы ещё долго стоять на улице.

Войдя в квартиру, Кузьмичёва искала спички, бродила, спотыкаясь в темноте, роняя на пол какие-то вещи, и когда, наконец, она зажгла лампу, Мария Ивановна увидела грязную комнату, кастрюльку, стоящую на стуле, высохшую картофельную кожуру на столе, трюмо, почему-то повёрнутое стеклом к стене.

Не раздеваясь, Кузьмичёва начала растапливать печь. Словно для того, чтобы объяснить неженскую запущенность в комнате, она сказала:

— Ухожу чуть свет, возвращаюсь вечером. Да и не к чему красоту наводить, всё равно одна.

Мария Ивановна, забыв, что она тут только гостя, взволновалась и принялась отчитывать Кузьмичёву. Но та слушала её безучастно и с таким выражением равнодушия, что Мария Ивановна скоро замолчала и, видя, что хозяйка тяготеет её присутствием, посидев для приличия ещё несколько минут, ушла. Простились они очень холодно.

Прошла неделя, а Мария Ивановна всё вспоминала о новой знакомой. И не потому, что Кузьмичёва ей понравилась, — она ей совсем не понравилась, — просто Мария Ивановна не могла оставаться равнодушной к человеку, который имеет хоть косвенное отношение к её сыну.

Выбрав время, она снова пошла к Кузьмичёвой. Той дома не оказалось. Мария Ивановна решила подождать. В коридоре было очень холодно, на дровах, сложенных в поленницу, не стоял снег. Мария Ивановна сильно замёрзла и уже хотела уходить, но вышла соседка Кузьмичёвой и пригласила её в свою комнату.

И, как это часто бывает, когда две женщины разговаривают о третьей, соседка рассказала всё, что знала о Кузьмичёвой.

Муж Кузьмичёвой работал механиком в силовом цехе. Он учился в вечернем институте, организованном при заводе, и должен был скоро стать инженером.

Он, повидимому, принадлежал к людям гордым, самолюбивым и волевым.

Нина — она проще и моложе. И любила его она так, как любит женщина, когда хочет отречься от собственного существа, хочет чувствовать, как чувствует он, думать, как думает он. В этом и сила любви женщины и её слабость. Муж частенько подшучивал над ней, над её бесхарактерностью. И это понятно: ведь очень часто мужчина видит не удивительную духовную силу в женщине, беззаветно, всем существом отдавшейся ему, а только признак женской слабости, которая постоянно нуждается в покровительстве и защите.

Когда муж ушёл на фронт, Нина поступила на курсы медсестёр. Она мечтала попасть в ту часть, где служил её муж. И она чувствовала себя счастливой, потому что получала от мужа хорошие, радостные письма. И когда он посоветовал ей закутывать ноги для тепла старыми газетами, а уж потом надевать носки, она послушно выполняла его совет, хотя погода была вовсе не холодная.

Незадолго до окончания курсов Нина решила отпраздновать день своего рождения и пригласила на вечеринку лейтенанта интендантской службы Зухарева, который служил с её мужем в одной части и приехал в город в командировку.

Позвала она и капитана Капустина. С ним она познакомилась при таких обстоятельствах.

Вместе с подругами Нина ходила на донорский пункт. И, как все девушки, к ампулам со своей кровью она привязывала нежные записочки, адресованные раненому, которому будет влита её кровь. Кровь Нины спасла жизнь капитану Капустину.

Выздоровев, Капустин отправился к Нине, чтобы поблагодарить её, а так как эта встреча совпала с днём рождения, она пригласила капитана к себе в гости.

Капитан явился с огромным букетом цветов.

Вечеринка прошла очень весело. Радостная от того, что близок день окончания курсов и скоро она сюрпризом явится к мужу, Нина веселилась.

Капустин, относившийся с благоговением к своей спасительнице, весь вечер не спускал с неё восхищённого взгляда и даже под конец прочитал сочинённые им в госпитале и посвящённые ей стихи.

Только один человек не разделял общего веселья — лейтенант Зухарев. И чем сильнее веселилась Нина, тем более мрачнел он.

А через две недели пришло от мужа письмо, и адресовано оно было не Нине, а её подруге. Кузьмичёв просил передать жене, что деньги по аттестату она будет получать, пока он жив или пока война не кончится, но просит её прекратить переписку — ни читать её писем, ни отвечать на них он не будет.

В отчаянии, не закончив курсов, Нина поехала на фронт разыскивать мужа. Пропуска у неё не было. Проблуждав в прифронтовой зоне более месяца, она вернулась обратно, опустошённая, убитая горем. Ей казалось, что все её презирают за то, что муж-фронтовик её бросил.

Она поступила на швейную фабрику, находящуюся на другом конце города, где её никто не знает. Сразу пропали её жизнерадостность и общительность. Она стала теперь хмурой и нелюдимой.

Нина встретила Марию Ивановну неприязненно. Она даже не предложила ей сесть. Но Мария Ивановна сделала вид, что не заметила этого.

— Я вот почему снова к вам пришла, — сказала Мария Ивановна просящим, таким несвойственным ей тоном. — Больше пойти мне некуда, а вы мне единственно близкий человек. Ведь вы не откажете помочь матери сослуживца вашего мужа. Хотя бы на две недели разрешите у вас пожить. А там я найду себе угол, мне обещали. Помогите мне.

— Да разве я что-нибудь. Пожалуйста, — сказала дрогнувшим голосом Нина и растерянно добавила: — Вы садитесь, раздвайтесь, почему вы стоите?

Новое жильё причиняло Марии Ивановне массу неудобств.

Расстояние от её квартиры до завода было ровно в два раза короче. Дома она спала на перине, а здесь — на узеньком жёстком диванчике. Она привыкла к своему дому и ни разу в жизни не ночевала в чужом.

Но она понимала — иного пути к сердцу женщины, грубо, жестоко оскорблённому, нет. К соболезнованиям, сочувствиям оно глухо. Оно может только открыться само, состраданием к чужому горю. И Мария Ивановна вызвала его на это, чтобы открыть и своё сердце.

Прошёл месяц. Женщины подружились. Но Мария Ивановна была вынуждена дать слово Нине не писать сыну о том, что она узнала. В свою очередь Мария Ивановна заставила Нину снова поступить на курсы медсестёр, и они реши-

ли — Нина поедет обязательно в воинскую часть, где служит сё муж. Только она совсем не будет обращать на него внимания и даже при встречах станет здороваться, как с чужим.

Однажды, когда Мария Ивановна уходила с работы, ей сказали, что в проходной её ждёт какой-то военный.

Мария Ивановна подошла, запыхавшись, к незнакомому майору, и сердце её сразу упало. Она ждала, что скажет ей этот человек, с таким угрюмым лицом и невесёлыми глазами.

Но майор улыбнулся и сказал:

— Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Ваш сын здоров. Я письмо привёз. Он, кстати, просит приютить меня на несколько дней. Мне, видите ли, остановиться здесь негде. Это вас не очень стеснит?

Трудно передать восторг, охвативший Марию Ивановну. На одном примусе она готовила чай, на другом, занятом у соседей, жарила пирожки из пресного теста с консервированным мясом. Всё, что так берегла для встречи сына, она поставила на стол.

Красная, в наспех надетом новом шёлковом платье, Мария Ивановна носилась по комнате и столько задавала майору вопросов, что тот ни на один не успевал ответить толком.

Наконец, когда всё было готово, Мария Ивановна уселась за стол и, с трудом переводя дыхание, вся сияющая, протянула свою рюмку к рюмке майора и сказала торжественно:

— Ну, дорогой товарищ майор, уж вы извините, забыла ваше имя-отчество, такое вы мне счастье принесли, что просто голова кругом пошла.

Майор чокнулся, выпил, закусил, потом, вытерев губы салфеткой, сказал, улыбаясь:

— Зовут меня Андрей Сергеевич. Фамилия — Кузьмичёв. Мы с вашим сыном...

— Как? — спросила Мария Ивановна, вставая. — Как вы сказали? — и, вдруг побавровев, задыхаясь, она крикнула, показывая на дверь: — Вон! Сейчас же вон, чтоб духу вашего не было! Да как вы смели в чужую квартиру придти, когда... Вон, сейчас же вон!..

Мария Ивановна догнала Кузьмичёва на улице. Он шёл, низко склонив голову; белый мягкий снег ложился на его плечи, шапку.

Потом они оба — Мария Ивановна и майор — долго бродили по затемнённым переулкам, и Мария Ивановна говорила

ему простые и очень важные слова, какие хранят у себя в сердце пожилые, умные женщины, которые трудно и совсем не просто прожили свою жизнь.

И когда они остановились у знакомого дома, майор робко и виновато попросил:

— Мария Ивановна, пойдёмте, пожалуйста, вместе. Одному мне как то трудно очень.

— Не нужно, голубчик, — мягко сказала Мария Ивановна. — Здесь вам помощники только во вред.

Дома Мария Ивановна быстро разделась, легла в постель и, поставив у изголовья лампу, стала читать письмо сына. Но строки расплывались в её глазах, она прижимала к губам бумагу, гладила ею себя по лицу, вдыхая её запах, как вдыхала она когда-то младенческий запах тела сына. Она плакала, шептала какие-то смешные и путаные слова, и сейчас для неё всё отошло куда-то далеко, и Кузьмичёвы тоже; только одно вот это единственное ощущение счастья матери переполняло всё её существо.

## ЭТО СИЛЬНЕЕ ВСЕГО...

Я не буду называть действительное имя этого человека. Но делаю это вовсе не для того, чтобы сохранить право на литературный вымысел. Простая и строгая правда доходчивей самой изощрённой фантазии... Главная причина — не обмануть доверие человека, случайно раскрывшего свою душу другому.

Потом, я должен предупредить, не все даты точны. Нельзя с блокнотом и карандашом в руках слушать исповедь человека, даже если ты его встретил первый и последний раз в жизни.

И ещё: в рассказе нет финала. Ибо человек этот — с трудной судьбой, и нет нужды облегчать её в угоду кому-либо.

Прощальный банкет, который решил нам дать корреспондентский корпус, был устроен в ресторане, расположенном на каменной террасе древней белградской крепости. Глубокие земляные рвы, окружающие крепость, были некогда превращены в вольеры для зверей зоологического сада. Но теперь вольеры были пусты. Немцы любят стрелять. Во время оккупации в ресторан могли ходить только немцы.

Удивительный вид открывался отсюда.

Здесь место слияния двух рек: Дуная и Савы.

Серебряный тусклый туман, пропитанный лунным светом, создавал впечатление, будто огромная река течёт в воздухе.

Мне не хотелось отходить от каменной балюстрады и расставаться с видением светящейся водной равнины.

И когда он подошёл с бутылкой в руке и двумя бокалами, которые держал между пальцами, и, бесцеремонно усаживаясь на балюстраду, предложил выпить, я не очень дружелюбно принял его предложение.

На вид ему можно было дать и 40 и 50 лет. Сухое лицо с острыми чертами, узкие почти бесцветные губы, холодные светлые глаза и резкий голос мало располагали к себе. На нём была униформа, которую носят все американские корреспонденты, только на погонах и на рукаве почему-то

не было отличительных знаков военного корреспондента, и на фуражке, которую он небрежно бросил на пол, отсутствовал медный герб.

Поймав мой взгляд, он сказал:

— Если это так необходимо, я могу рекомендоваться.

Представился и добавил:

— Бывший корреспондент, — и назвал при этом крупнейшее мировое агентство. И тут же вызывающе сообщил: — Я послал моего шефа к чертям собачьим телеграммой в тысячу слов за их счёт. Хотел бы видеть его лицо, когда он читал текст.

Кивнув в сторону грота, где находился бар, он с иронией произнёс:

— Мои коллеги относятся теперь ко мне, как к чужаку. Они не уважают людей, отказавшихся от своего шефа...

Налив вина, он объявил:

— Я хочу с вами выпить потому, что вы советский журналист и не будете щепетильны к таким мелочам.

— Да, — сказал он тихо и серьёзно. — Родина... Я никогда не думал, что это может быть больше, значительней, сильнее всего того, к чему я стремился всю свою жизнь.

Подняв голову, он быстро спросил:

— Вы женаты?

— Да.

— Сегодня я сообщил своей жене, что она может быть свободна. Тоже телеграммой, только она в тысячу раз короче, чем та, которую я послал шефу. Это не будет выпренно, если я вам скажу, что я боготворил свою жену. Ни одну женщину я не буду любить так, как я любил её.

Поднимая бокал к губам, он глухо сказал:

— Я должен был сегодня напиться, но я не буду этого делать. Я не люблю этого слова — напиться, но ещё больше не люблю того, что означает это слово. Впрочем, если вы согласитесь докончить со мной эту бутылку, я готов рассказать вам всё по порядку, если это не надоело вам, с самого начала. Но не думайте, пожалуйста, что я к вам питаю какое-нибудь особое расположение, или то, что вы — советский, вызывает у меня к вам восторженные чувства. Впрочем, да, вы те люди, которых хочется разгадать, а вместо этого... Ну, это из области психологии, или, вернее, социологии, или черт знает чего. Итак, выпьем.

Так вот. Вы думаете, конечно, что я американец? Нет, я хорват, родился в Хорватии. Семи лет я с братом уехал на транспортнике в Америку. Когда мне было одиннадцать лет, брат погиб. Его убило лопнувшим тросом в порту. До тринадцати лет я мыл машины в гараже. Пятнадцатилетним юношей ушёл в море помощником кочегара на старом лайнере. На нём было нельзя уходить в море, но мы пошли, потому что деваться нам было некуда. В первом же моём рейсе на лайнере взорвались котлы. Два месяца я провалялся в госпитале. Выйдя из госпиталя, я не мог найти работы. Голодал. Однажды в баре меня угостил виски какой-то человек. Мы разговорились с ним, и я рассказал всю историю с лайнером. А через несколько дней я встретил своих товарищей по плаванию. Они избили меня до полусмерти. Уходя, они забили мне в рот смятую в ком газету и сказали: «Ты должен съесть её».

Только через месяц я узнал, что это была за газета. В ней было напечатано интервью со мной, где я, по словам репортёра, заявлял, что авария произошла по вине кочегаров. Основываясь на этой заметке, суд отклонил претензии команды к компании. Я решил найти и убить репортёра. Я стал ходить по редакциям и искать его, но найти мне его не удалось, а через несколько лет я сам стал репортёром. Вы, советские люди, не знаете, что такое доллар. И я не буду вам объяснять, что такое доллар. В Америке есть хотячее выражение: этот человек стоит столько-то долларов. В это понятие входит всё, кроме нравственных категорий. Но меня не интересовала карьера проповедника. Я писал о том, о чём можно писать. За что хорошо платили. Я был в Испании и в Советском Союзе. Кажется, ни в Советском Союзе, ни бывшим бойцам интернациональной бригады мои корреспонденции не нравились.

Конечно, я должен был бы писать их иначе, но кто их стал бы тогда печатать? Моего шефа интересовали не факты, а представление о них его рекламодателей. Да и факты нужны были те, какие нужны шефу, и платил за них он, а не кто-нибудь другой.

Кстати, тогда же я встретил того репортёра, но я не убил его и даже не надавал пощёчин. Было бы глупо, если б я это сделал; теперь я знал все профессиональные уловки. Мы выпили с ним в баре, хотя он не мог вспомнить меня. Но я отнёсся к нему без злобы. В сущности ведь ему я был обязан своей журналистской карьерой.

Я работал так, как у вас, советских журналистов, не принято работать. Кроме моего основного агентства, я нелегально сотрудничал в десятке других газет, и частенько мне приходилось в одной газете писать совсем противоположное тому, что я писал в другой. Я так отбивал себе на машинке пальцы, что вынужден был надевать резиновые наконечники. В течение нескольких лет я не был ни разу ни в театре, ни в кино и читал только те книги, которые мне нужны были для работы, вернее, вычитывал из них только то, что нужно было вставить в статью.

Мы были помолвлены с Керри в течение трёх лет и встречались только в две недели раз, пока я не заработал столько денег, что смог жениться на ней без опасения ввергнуть её в нищету. Пять лет я таскался по Африке, Египту и по южноевропейским странам для того, чтобы заработать сумму, которая позволила бы нам иметь ребёнка. До этого мы боялись иметь ребёнка, и Керри несколько раз подвергала себя мучительной операции.

Уже во время войны мне удалось устроиться на хорошую должность в одно рекламное бюро. Мои связи с прессой открывали самые широкие перспективы. Но когда начались события в Югославии, мой старый шеф разыскал меня и предложил такую сумму, отказаться от которой я не мог. Посоветовавшись с Керри, я дал своё согласие.

Так как путешествие было очень опасным (нужно было спрыгнуть в расположение партизан с парашютом), я потребовал от шефа застраховать мою жизнь на весьма кругленькую сумму. Шеф и на это согласился.

Как чувствует себя человек, первый раз совершивший прыжок с парашютом, вам рассказывать нет нужды. Партизаны сняли меня с дерева, на котором я повис на стропях, но больше всего они были удивлены тем, что я говорю свободно на их родном языке.

Приехал или, вернее, спустился я к ним с поднебесья крайне не вовремя. Немцы двойным кольцом окружили партизан, и несколько сот автоматчиков прорвались к штабу.

Должен вам сказать, что я вообще не трус. Но здесь я был очень взволнован тем, что происходило перед моими глазами, и давно заглушённое чувство родства заговорило во мне, — словом, когда один раненый партизан протянул мне

автомат и сказал: «Достреляй за меня, что тут есть, дру- же», — я не выдержал.

Мы дрались день и половину ночи, потом мы отходили в полном мраке по каким-то горным тропинкам. Я шагал рядом с раненым партизаном, и, когда от усталости стал шататься, он предложил опереться на его плечо.

А когда я отдохнул, то попросил немедленно провести меня к Тито, интервью с которым входило в основу моего задания.

Представьте моё смущение: тот самый раненый партизан и был Тито. Весь облик этого человека и всё его поведение настолько противоречили тому, о чём мы договорились с шефом, что я не смог писать неправду.

Мне не приходилось встречать более благородных людей, более одухотворённых и чистых в своих поступках и помыслах.

Я радовался и знал, что это не будет напечатано, но я писал правду.

Ну, что ж дальше? Я остался с партизанами и стал партизаном.

Я научился спать стоя, как лошадь, греть руки о нагретый ствол автомата и бросать лёжа гранату. Стоит ли говорить, что моему решению остаться с партизанами предшествовала встреча с людьми, которые знали меня в детстве, и посещение мест, где я родился. Я посетил свой дом, вернее, развалины на том месте, где был мой дом. Мне рассказали, как был обезглавлен мой отец и как голову его привезли усташа и бросили к ногам моей матери. Я разыскал свою сестру. Это была седая старуха в рубище. Она не узнала меня. Дети её погибли под развалинами дома, куда попала немецкая бомба.

Я не мог больше оставаться американцем, я стал хорватом. И мне вернули моё родное имя.

Два года я пробыл в армии Тито, это для меня было большим, чем двадцать лет жизни там.

Но самое мучительное началось для меня потом. Мы одержали победу. Да, вы помогли нам, без вас победа не пришла бы. Война кончилась. Я увидел страну, разорённую, измученную, и мне нужно было решать: кто я? Нужен ли я здесь? Да, я мог воевать, но теперь что я могу делать?

Писать? Нет, я не могу писать. Здесь нельзя писать так, как я писал всю жизнь. Но у меня нет другой профессии. Хорошо, я могу стать шофёром. А семья, жена, ребёнок, разве я могу обречь их на такую жизнь? Потом это совсем другая жизнь. Здесь нужно жить не только для себя, понимаете? Ну, вы это отлично знаете! А они не поймут никогда. Но ведь той, своей жизни я добился какой ценой! И я достиг многого! Отказаться от всего? Смешно, верно? Да, пожалуй, смешно отказаться! Моя жена, которую я любил, которая дорога мне, как сама жизнь, — тоже отказаться от неё?

Да, но она сама отказалась от меня.

Она прислала мне телеграмму и попросила во имя нашего ребёнка не возвращаться больше в Америку. Там считали меня убитым. Жена получила страховую премию и вложила её в дело отца. А когда её отец узнал, что я жив, он отказался отдать деньги. Теперь, если я вернусь, они будут разорены.

— Ну, так как же: согласитесь теперь вы со мной ещё выпить? — он поднял бокал и остановился, выжидающе глядя мне в глаза.

— Как же вы теперь думаете дальше жить?

Он наклонился и, расплёскивая вино себе на колени, глухо сказал:

— Я очень много потерял для одного человека, но я нашёл то, без чего не может жить ни один настоящий человек на земле — отечество.

Поставив бокал, он добавил задумчиво:

— Я всё равно не мог бы вернуться обратно, жена облегчила мне решение. Я всегда считал её самой умной женщиной, какую мне когда-либо приходилось встречать.

Охватив своё лицо руками и опершись локтями на колени, он застыл в этой позе. Потом, выпрямившись заявил:

— Если б я сейчас встретил того репортёра, с каким бы наслаждением я набил бы ему морду и сбросил туда, вниз!

Поднявшись, он направился было к бару за новой бутылкой. Но, не дойдя, вернулся и сказал:

— Нет, не буду, утром будет болеть голова. А завтра у меня большой день, пускаем новую турбину.

— Вы что, поступили на завод?

— Да, я кое-что смыслю в этом деле. Я забыл вам сказать, что около двух лет в Канаде я работал по монтажу, там я и научился русскому языку у ребят из русской колонии. Но они совсем другие русские. Впрочем, это так, к слову.

Он пожал своей горячей сухой рукой мою руку, небрежно надел фуражку, лишённую медного герба, и ушёл, ни разу не оглянувшись.

## ПАРАШЮТИСТ

Колонны наших войск вступили на главную улицу большого заграничного города.

Высокие здания модной архитектуры дребезжали зеркальными стёклами, словно шкафы с посудой.

Пёстрая толпа жителей, теснясь к стенам домов, жадно разглядывала танки, пушки, металлические грузовики, сидевших в них автоматчиков.

А на мостовой, отделившись от всей толпы, почти вплотную к танкам, стоял человек в чёрной донельзя изношенной одежде. Выбритое лицо с запавшими синеватыми щеками выражало такое волнение, что нельзя было не запомнить его. Когда горящие его глаза встретились с моим взглядом, возникло такое ощущение, будто этот человек немой и, борясь, страдая, он пытается произнести слово.

Из толпы раздавались приветственные койки. Бойцам бросали цветы. Один букет упал к моим ногам. Человек не наклонился, не поднял цветов, стоял и напряжённым, ищущим взглядом смотрел в лица наших бойцов и офицеров.

\* \*  
\*

Несколько месяцев тому назад, повреждённый огнём дальнобойных зениток, разбился в этой стране, в горах, американский бомбардировщик «летающая крепость».

В секунды своего падения экипаж подал радиосигнал бедствия.

В то время советские войска находились ещё очень далеко от границ этого государства. Но наше командование снарядило группу хороших, бывалых ребят и отправило их на помощь американскому экипажу.

Самолёту немисливо совершить посадку на скалы. Шестеро бойцов выбросились на парашютах. Пятеро приземлились благополучно. Шестой, попав в узкую теснину ущелья, раскачиваясь на стропах в тёплых потоках вос-

ходящего воздуха, как маятник, разбился о каменные стены.

Деять дней парашютисты искали американских лётчиков. На десятый — нашли. Живыми остались только четверо американца, двое из них были тяжело ранены.

Семнадцать суток на самодельных носилках, по тропинкам, шириной в ладонь, парашютисты несли раненых лётчиков. Когда спустились в лощину, старший включил рацию.

Советский самолёт через два дня совершил посадку в условленном месте. Сначала в самолёт погрузили раненых. Стоя у дверцы, старший группы ждал, когда в самолёт съдут двое американцев, а те, стоя у дверцы, улыбаясь, предлагали войти сначала нашим бойцам.

Неизвестно, сколько времени заняла эта обоюдная вежливость, но к старшему подошёл боец и что-то прошептал на ухо. Тогда старший отдал команду и протестующих американцев подняли на руки, втокнули силой в кабину и захлопнули дверцу.

Наши парашютисты побежали к дороге, где с двух грузовиков уже соскочили полевые жандармы. Самолёту удалось благополучно взлететь.

Высаженный в ту же ночь десантный отряд противника не обнаружил наших парашютистов.

Лейтенант Михаил Аркисьян был старшим группы парашютистов.

В штабе части я прочёл дело лейтенанта Аркисьяна.

1941 год. Ноябрь. Разведкой было установлено, что немцы, готовясь к массированному налёту на Москву, сосредоточили крупные склады авиационных бомб. Задание — проникнуть в расположение складов и уничтожить их.

Когда наш самолёт пересекал линию фронта, зенитный снаряд пробил фюзеляж и разорвался в отсеке бортмеханика. Раскалённые осколки воспламенили взрывчатое вещество, которое находилось в брезентовой сумке, надетой на Аркисьяна наподобие пробкового спасательного пояса. Аркисьян бросился к штурвалу бомболюка, раскрутил его и выбросился из бомболюка, пылая, как факел. Он падал затылком прыжком, пока не сбил пламя. Купол парашюта напоролся на вершину дерева. Ударившись о ствол, Аркись-

ян повредил себе ногу. Он висел на стропях до рассвета. Очнувшись, отстегнул лямки, упал на землю и снова лежал несколько часов без сознания.

С повреждённой ногой Аркисьян полз двое суток, но не туда, где мог найти приют и помощь.

Бомбовый склад немцы расположили на территории бывшего пивного завода. Серый дощатый забор окружал завод.

Орудяя ножом, Аркисьян проделал в заборе дыру и пролез в неё. По пожарной лестнице он поднялся на чердак и оттуда спустился внутрь завода.

На стеллажах, вдоль всего огромного цеха, лежали в несколько рядов тяжёлые бомбы.

У Аркисьяна не было взрывчатки. Она сгорела.

Аркисьян ползал в темноте, собирая доски, чтобы поджечь цех. В одном из помещений он нашёл ящик с взрывателями. Он ввернул взрыватель в бомбу, взял кусок железа, чтобы ударить по взрывателю.

Но советский человек, в каком бы состоянии ни находился, видно, не ищет лёгкой, быстрой смерти.

Аркисьян отложил кусок железа в сторону, вывернул взрыватель. Действуя доской, как рычагом, поставил бомбу на хвост, потом закинул верёвку за металлическую ферму, поддерживавшую кровлю, подвесил кусок железа строго перпендикулярно головке бомбы. Снова ввернул взрыватель.

Потом Аркисьян принёс промасленную бумагу, в которую были завёрнуты детонаторы. Разрывая её на продольные куски, сделал нечто вроде серпантинной ленты, конец её прикрепил к туго натянутой тяжестью железа верёвке и зажёл.

Когда Аркисьян пересекал снежное поле, стараясь подальше уйти от склада, немецкие часовые с дозорных вышек заметили его и открыли огонь. Но склад авиационных бомб взлетел на воздух вместе с вышками и немцами на них.

1942 год. Девять советских парашютистов совершили ночью нападение на город Жиздру, занятый немцами.

Перебив в казарме немецкий гарнизон гранатами, парашютисты забрали документы, а из сейфов — около двух миллионов рублей.

На пожарной машине, запряжённой четвёркой сильных коней, они умчались из города.

Загнав лошадей, с мешками, набитыми деньгами, они ушли в лес.

Попасть в глубокий вражеский тыл парашютистам не трудно. Самое тяжёлое — выйти оттуда.

Месяц шли парашютисты до линии фронта. Голодные, измождённые, проваливаясь в снег, несли тяжёлые мешки с деньгами. Бойцы предлагали сжечь деньги, потому что не было больше сил нести эту тяжесть. Но Аркисьян, старший в группе, сказал: нельзя.

Во время стычек с немцами парашютисты ложились на снег, а в голову клали мешки, защищая себя от пуль.

Они перебрались через линию фронта и сдали деньги.

1943 год. Аркисьян с группой товарищей ликвидирует одного из палачей белорусского народа. В снегу, возле дороги, по которой должен был проехать чиновник на охоту, с рассветом закопались наши парашютисты. Чтобы не быть обнаруженными собаками, они пропитали свои маскировочные халаты специальным составом.

Несколько троек шумно пронеслось мимо залёгших парашютистов. Но Аркисьян запретил открывать огонь. На обратном пути утомлённая после охоты и основательно захмелевшая охрана будет менее бдительна. Парашютисты лежали в снегу шестнадцать часов. Двое отморозили себе конечности настолько, что потом пришлось ампутировать. Но никто не покинул своего поста, не сдвинулся с места. Ночью возвращавшиеся с охоты немцы были уничтожены на дороге все до единого.

Эти три эпизода не исчерпывают всей боевой деятельности Михаила Аркисьяна. Один только перечень выполненных заданий занимал шесть страниц убористого текста. Михаил Аркисьян родился в 1921 году, армянин. В 1943 году принят в члены ВКП(б).

Я решил узнать обстоятельства гибели Аркисьяна, но когда обратился к представителю командования с этим вопросом, полковник сказал с упрёком:

— Плохо вы знаете моих людей, если так быстро их хороните.

И полковник рассказал мне коротко последующую историю парашютистов и их старшего.

Оставшись одни, парашютисты вели бой с немцами. Аркисьяну и двум бойцам удалось прорваться и уйти в горы. Один боец был убит, а другой, Василенко, тяжело раненый, попал в руки немцев.

В горах парашютисты встретились с партизанами. Мысль о попавшем в плен Василенко мучила Аркисьяна. Парти-

заны установили с помощью населения, что раненый русский находится в концлагере. Из концлагеря заключённых гоняют работать в каменоломни.

У Аркисьяна созрел план. Ночью он пробрался в каменоломни и зарылся в щебень. С рассветом пришли заключённые. Он смешался с ними и нашёл Василенко. Когда начало смеркаться, Аркисьян закопал Василенко в щебень, сам встал в шеренгу и был принят по счёту.

Силы людей, физические и моральные, были доведены до предела изнеможения. Многие ждали только смерти.

Аркисьян сумел сплотить этих людей, собрать воедино их волю, воодушевить их верой в освобождение. Он стал готовить восстание заключённых.

Восстание произошло. Оно совпало с днями, когда уже приближались к этим местам наступающие части Красной Армии.

Дни и ночи мимо лагеря шли отступающие колонны немцев. В лагерь явился эсэсовский отряд для расстрела заключённых. Но расстреляны были не заключённые, а эсэсовцы.

Когда пришла Красная Армия, Аркисьян был временно оставлен в лагере начальником — охранять пленных немцев; теперь они заполнили помещение лагеря.

— И сейчас вы можете увидеть его там, — закончил полковник, прижимая к уху телефонную трубку и держа вторую в руке.

...Я приехал в лагерь военнопленных и здесь нашёл лейтенанта Аркисьяна.

— Понимаешь, дорогой, мне сейчас некогда, — обратился он ко мне. — Ты видишь, какой у меня тут зоологический сад?

И только ночью мне удалось поговорить с ним.

— Правильно, это я тогда стоял на улице и смотрел, как входят в город наши советские части, — говорил мне Аркисьян взволнованно, — и, понимаешь, очень мне было хорошо и ужасно плохо, что вот стою я, вижу своих и не могу даже сказать «здравствуйте», потому, что так я безобразно одет, похож на ворону. Это были мои самые тяжёлые переживания в жизни. Запиши, пожалуйста. Нет, подожди, я тебе... это главные переживания будут.

В одном месте меня немцы собаками травили. Ползу я в лесу, по грязи, деревья такие чёрные кругом, осина. Дождь, ещё расскажу, идёт непрерывный, такой противный. Тош-

нит меня. Немцы живот прострелили. Решил — застрелюсь. Вынул пистолет, зажмурился и тут, понимаешь, подумал: жена есть, отец есть, мама есть, товарищи хорошие, деревня, где, понимаешь, я жил в Армении, в нашей такой замечательной стране, — и вдруг этого ничего не будет, как будто собственной своей рукой я всё это убиваю, а не себя. Невозможно. Решил жить. И вот, видишь, живу. Отбился. И каждый раз, когда мне плохо, я думаю, как тогда, и мне так интересно жить, что я действительно храбрым становлюсь. А что такое храбрый? Муха тоже храбрая, она сразмаху в стекло головой бьёт.

Вошёл караульный и доложил о приезде американских лётчиков.

Аркисьян встал и сказал со вздохом:

— Прилетели специально спасибо сказать. Я говорил, зачем горючее жечь, можно было письмо написать. Придётся водку пить, гостеприимство, а мне, понимаешь, нельзя, я при исполнении служебных обязанностей.

Четыре американских лётчика шумной гурьбой вошли в комнату, держа в руках большой венок. Аркисьян повидимому, уже привычно, наклонил голову. Венок надели ему на шею.

Через час американцы, обняв Аркисьяна, пели ему свои песни, показывали карточки своих жён и детей, и Аркисьян, к восторгу американцев, водя пальцем, называл имена детей их и жён, не забывая при этом поглядывать на часы: близилась смена караула, ему нужно было принять рапорт.

## Д Ж Е Н И

Падал лохматый тёплый снег, и от снега пахло, как от травы после дождя, свежестью.

Очень приятно стоять под этим падающим снегом! Стоишь, словно в черёмуховой роще, когда осыпается цвет, даже голову кружит!

И ещё также было очень приятно смотреть на дорогу. По дороге, по грунтовой стороне её, строго предназначенной для гусеничного транспорта, катился серый немецкий танк на своём ходу с раскрытыми люками.

Последние дни ремонтники только и знали, что гоняли с поля боя эти пленные машины к своим летучкам.

Хорошо стоять под снегом, когда этот снег напоминает белый сад, и смотреть на такую дорогу!

И вдруг крик, пронзительный крик, и когда я обернулся, увидел, что какой-то человек бежит по полю, увязая в снегу, а впереди него наперерез немецкому танку скачет большая трёхногая овчарка.

Старые, ржавые проволочные ограждения пересекали поле. Собака на какое то мгновение присела, сжалась в комок и вдруг выпрямилась и вся вытянутая поднялась на воздух. Коснувшись земли, собака перевернулась через голову и покатилась в овраг. Потом она снова появилась возле откоса, без лая, молчаливая, шатающимися прыжками она заходила к танку сбоку, движимая каким-то своим расчётом.

Механик-водитель не мог слышать крик, но в открытый люк он увидел махавшего ему руками человека и остановил машину. Остановил как раз в тот момент, когда овчарка, сделав последний прыжок, легла под правую гусеницу.

Потом я увидел, как собаку тащили от танка за верёвку, привязанную к шейнику. Собака не хотела уходить, она рвалась на верёвке, мотала головой, прыгала в разные стороны, вставала на задние лапы, садилась, упираясь передней лапой в землю, и выла.

Только когда танк ушёл, собака понуро побрела вслед за

людьми. Поджатый хвост, повиснувшие уши, взъерошенная шерсть и ковыляющая поступь делали её невыразимо несчастной.

Привыкнув на войне к тому, к чему, казалось бы, очень трудно привыкнуть, я был странно взволнован этим непонятным происшествием.

Вечером я зашёл к подполковнику Мезенцеву. Он сидел за столом у карты. Карандаш, часы, циркуль, портсигар, зажигалка, как всегда, лежали возле его правой руки. Слева стояли четыре ящика с телефонными аппаратами в чехлах из жёлтой кожи.

А в углу, за печкой, лежала уже знакомая мне овчарка.

Она лежала вытянувшись, положив свою длинную красивую голову на переднюю лапу. Глаза её были открыты. Собака вздрагивала. Короткая култышка на груди её всё время тряслась, словно от непереносимой боли.

Миска, наполненная кусками варёного мяса, стояла возле собаки, но она, повидимому, к ней не притрагивалась.

Мезенцев, словно продолжая начатый разговор, обратился ко мне раздражённо:

— Ведь говорил же всем: идёт машина, закрывай дверь! Теперь несколько дней жрать не будет. Всё швейцары нужны! — и взял телефонную трубку.

— Сколько? — спросил он, морщась. — Ну и не трогайте. Знаю. Правильно. Пускай пропустят. Мы их на самоходные примем.

Делая отметки на карте, Мезенцев объяснил:

— Выманивать у немца танки приходится. Берегут посуду, а у меня техника в засаде простаивает.

Я не знаю, когда Мезенцев спит, ест, одевается, бреется. Есть ли у него семья? Что ему нравится и что не нравится. Я приходил к нему в разное время и всегда заставлял его у карты и телефонных аппаратов, и всегда он был невозмутимо одинаков.

Видно, удивительная работоспособность начальника штаба добывается из того же материала, из которого черпают в себе силы идущие в бой. Но в своём деле каждый идёт своим собственным путём!

Крохотная электрическая лампочка, светоносная капля, висела у потолка на толстом прорезиненном проводе. Сухие, строгие руки Мезенцева двигались по карте. Где-то далеко, со стороны дороги, слышалось мерное ворчание мотора.

Собака подняла голову, уши её напряглись и встали,

узкая морда её повернулась в ту сторону, откуда шёл звук.

— Ну, вот — сказал Мезенцев, — опять, — и решительно заявил: — Кончено. Пошлю в тыл, больше терпенья моего нет! — и, будто не совсем доверяя себе, ещё более категорически заявил: — Завтра же отправляю!

Может, машина свернула куда-нибудь в сторону или заглох мотор, только шума её больше не было слышно. Но собака долго ещё оставалась в напряжённой позе, потом медленно вздохнула и стала укладываться.

Свернувшись в клубок, спрятав нос в кольцо пушистого хвоста, она снова начала дрожать и тихо повизгивать.

Мезенцев, не отрываясь, что то писал, широко расставив локти и низко склонившись к бумаге. Потом он взял написанное, поднёс к свету, сделал несколько поправок, тщательно сложил бумагу, провёл ногтём и вдруг разорвал на мелкие клочки.

— Нет, — сказал он. — Нельзя. Ничего не выйдет. Не могу. Привык. — И, уже обращаясь ко мне, резко спросил: — Чай пить будете?

Если бы Мезенцев скомандовал: «Руки вверх!» — я бы меньше удивился, чем этому внезапному жесту его гостеприимства.

Чай был тёплый, невкусный. Но видно Мезенцев считал, что чай — единственный повод для неслужебного разговора.

Держа в ладонях кружку с безнадёжно остывшей водой, Мезенцев говорил сухо, быстро, словно вынужденный к разговору, а не побуждаемый каким-то внутренним желанием.

1941 год. Нам, пограничникам, пришлось первым принять предательский удар немцев. Они шли на нас с танками. Мы отступали и дрались. С нами были наши собаки. Они были обучены кое-чему. С толком, привязанным к спинам, они бросались под немецкие танки и взрывали их. Мы тоже взрывали танки. Привязывали к мине верёвки и бежали наперерез танку. Всё искусство заключалось в том, чтобы остановиться, когда мина окажется против гусеницы танка. Затем от моего отряда осталась одна собака. Вот эта, Джени.

Услышав своё имя, овчарка подняла голову, наострила уши, застучала хвостом и заулыбалась, как это умеют делать собаки, морща дрожащие губы и обнажая клыки.

— Ну, ну, ладно, — сказал собаке Мезенцев, и ещё поспешнее продолжал: — Немцы окружили нас. Но мы вырвались.

Немецкий танк стоял в засаде на просеке. Джени бросилась к танку, на ней был надет последний толовый пакет, снабжённый высоким стержнем взрывателя. Но немецкие танкисты уже познакомились с нашими собаками. Танк стал пятиться. Он удирал задом и бил из пулемёта в Джени. Ей перебило лапу. В лесу я отрезал перебитую ногу собаки перочинным ножом и сделал повязку. С тех пор мы вместе.

И, видимо, обрадовавшись, что так всё быстро расказал, Мезенцев поспешно встал, подошёл к Джени и, погружая свою руку в тёплую её шерсть, с грустью добавил:

— Умная, ласковая, только вот, знаете... танки. Привяжешь верёвку, перегрызёт. Закроешь в блиндаже, кто-нибудь войдёт, она сойдёт с ног, выскочит. Недавно на НП тоже. Хорошо, бронбойщики выручили. Разбили танк, когда она под него укладывалась. Прямо беда.

Собака перевернулась на спину и лизнула руку Мезенцева. Глаза её светились. Мезенцев вытер руку и подошёл к телефону.

— Хорошо,— сказал он довольным голосом,— очень хорошо. Пускай скапливаются.

Прищурившись, он смотрел на карту и наносил на ней толстые красные изогнутые стрелы.

В углу стукнула миска. Я подумал, что Джени ест, и обрадовался. Но собака не ела. Она сидела, упиравшись передней своей лапой в миску, наполненную мясом, брюхо её втянуто, круглые рёбра ясно обозначились на сильной груди, голова с торчащими ушами повернута к окну.

Казалось, собака не дышала, так неподвижна она была.

Внезапно овчарка бросилась к двери, ударилась о неё лапой и грудью, упала, потом поднялась, жалобно огляделась и, сжавшись в комок, прыгнула на стол, а оттуда в окно. Посыпались осколки стекла, рама оказалась слабой и вывалилась наружу.

Холодный ветер со снегом рванулся в хату.

Мезенцев кинулся к дверям. Зазвонил телефон. Махнув рукой, он взял трубку.

Окно я заткнул свёрнутым полушубком. Порванную когтями Джени карту Мезенцев заклеил.

Скоро глухие и тяжкие толчки разрывов снарядов вывалили полушубок из ниши. Я вышел из хаты.

Казалось, что небо сделано из кровельного железа — оно гремело, колебалось и выгибаясь. А облака в нём горели, словно они были пропитаны нефтью.

На рассвете я вернулся в блиндаж.

Мезенцев сидел напротив меня, откинувшись на спинку стула. Лицо его было, как всегда, сухое, спокойное: бессонная ночь не наложила на него своего отпечатка. Ровным голосом он стал диктовать в штаб донесение о разгроме немецкой танковой бригады.

На следующий день я отправился к месту засады, чтобы посмотреть на разбитые немецкие танки.

Оттепель испортила дорогу. Оставив машину, мы пошли пешком. С ветвей деревьев, отягощённых снегом, капала вода. Если смотреть на ветви деревьев против солнца, можно было увидеть, что эти капли цветные: они красились в цвета радуги.

И вдруг кто-то крикнул: «Джени!»

Да, это была она.

Собака скакала на трёх ногах, забрызганная грязью, низко опустив голову к земле.

— Джени! — закричал я. — Джени!

Собака остановилась, повернула в нашу сторону свою красивую острую голову. Потом осторожно вильнула хвостом, приподняла над клыками дрожащие чёрные нежные, бахромчатые губы и, мотнув головой, снова продолжала свой путь, неровными, шатающимися скачками.

## СОДЕРЖАНИЕ

Девушка, которая шла впереди . . . . .	3
Дом без номера . . . . .	8
Близость . . . . .	16
Простая история . . . . .	22
Это сильнее всего... . . . . .	29
Парашютист . . . . .	36
Джени . . . . .	42

**Отв. редактор А. А. СУРКОВ.**

---

**А04436** **Заказ № 454**

---

**Тираж 100.000 экз.** **Печ. л. 1½**

---

**Подписано к печати 25/IV 1946 г.**

---

**Тип. газеты «Правда» имени Сталина.**  
**Москва, ул. «Правды», 24.**



**Цена 60 коп.**